

УДК 882 – 311.4

ШОЛОХОВСКИЙ ГЕРОЙ НА ПЕРЕПУТЬЯХ ЖИЗНЕННОЙ СУДЬБЫ: ПАРАЛЛЕЛИ И ВАРИАЦИИ (ПО РОМАНУ «ТИХИЙ ДОН»)

© 2014 А.Б. Удодов

Воронежский государственный педагогический университет

Поступила в редакцию 30.01.2014

Аннотация: Рассмотрен один из аспектов изучения внутренне-структурных связей романа «Тихий Дон» на образно-персонажном уровне. Уточнены функции художественного параллелизма в формах «двойничества» и вариативности моделей жизненной судьбы по отношению к главному герою.

Ключевые слова: структурно-смысловая структура произведения, художественный параллелизм, вариативность ценностных ориентиров, система образов-персонажей.

Abstract: One of the aspects concerning the investigation of inner structural connections in the novel «The Quiet Don» on the image-character level has been examined. The functions of fictional parallelism in the form of duality and variability of fate models in relation to the main hero.

Key-words: structural and conceptual novel structure, fictional parallelism, variability of value guidelines, image-character system

То, что образ Григория Мелехова поставлен в центр художественной структуры романа, начиная уже с первых его страниц, в особых доказательствах не нуждается. Вместе с тем актуален вопрос о том, какие внутренне-структурные связи произведения обеспечивают эффект «фокусировки» в образе главного героя многочисленных линий художественного развития (как образно-персонажных, так и сюжетно-коллизийных) на уровне определенного системного единства. В таком аспекте анализа по-своему продуктивным видится прояснение многочисленных линий художественного параллелизма на образно-персонажном уровне (в формах своеобразного «двойничества», «зеркальных отражений», гипотетических моделей развития по отношению к главному герою) в их взаимопересечении и взаимокорректировке.

Здесь уместно обратиться к исходным рубежам в повествовании, где рядом с Григорием Мелеховым мы находим героев, объединенных с ним общностью «стартовых позиций».

Среди одногодков Григория – молодых хуторских казаков, только-только вступающих во «взрослую» жизнь, – выделяются двое, имеющие по отношению к Мелехову статус друзей детства и юности, – Дмитрий Коршунов и Михаил Кошевой. Первый, по определению автора в начале романа, «дальнешний друг-одногодок Григория [1, 14], сам неоднократно подчеркивает: «Григорий – друзьяк мой» [1, 17], «друзьяки мы с ним

<...> в школу вместе ходили» [1, 75]. Второй, также принадлежащий к ближнему кругу «знакомых ребят» [1, 136] Григория, в свою очередь, свидетельствует: «Мы с ним (Григорием. – А. У.) корешки, в школе вместе учились, по девкам бегали, он мне – как брат» [2, 129].

Всех трех «казачат» объединяет общий, достаточно традиционный спектр занятий и интересов донской молодежи в контексте социально-бытового уклада жизни казачества: участие в хозяйственной деятельности семьи, подготовка к недалекой уже в будущем воинской службе, незатейливые развлечения (рыбалка, скачки, «посиделки», «игрища») и, конечно же, – первый юношеский опыт в сфере взаимоотношений полов.

При этом говорить о каких-либо дружеских и, тем более, «братьских» отношениях между Коршуновым и Кошевым не приходится (хотя получается, что все трое вместе учились в школе); в романе нет ни одной детали или свидетельства такого рода, что, думается, не случайно. Если Коршуновы «слыли первыми богачами на хуторе» [1, 69], – то Михаил Кошевой с «единственной в его хозяйстве кобылой» [2, 25], живущий в «саманной хате» с «крохотными окошками» [1, 136], – представитель хуторской бедноты. Выясняется, что и отец Михаила Кошевого, и он сам были в работниках у тех же Коршуновых [2, 336-340]. Такая имущественная поляризация, воплощенная в конкретике социальных отношений, естественно, не располагала к установлению «дружеских» связей, подобных тем, которые

© А.Б. Удодов, 2014

каждый по отдельности формирует с Мелеховым. Последний же, принадлежащий к «среднему классу» в хуторской иерархии, и здесь оказывается «посередине», между двумя своими друзьями-товарищами.

Вместе с тем все трое в совокупности персонифицируют основной спектр социально-имущественной структуры хуторского казачества как определенного системного целого.

Аналогичного рода спектральная структура (действительно в цветовой гамме) воплощена этими тремя персонажами и на этногенетическом уровне. Григорий – «турок», «черный, как цыган» [1, 170]; Михаил Кошевой – ярко выраженный блондин «с золотой глыбой волос [1, 129]; для Дмитрия же Коршунова с его «желтизною» кошачьих глаз генетически доминирующим выступает, надо полагать, рыжий цвет (по крайней мере, неоднократны упоминания о том, что отец его «рыжий», с «рыжим волосом», «конопатый» и т. п [1, 58, 70, 72]). Таким образом, пресловутое «смешение кровей», ярко проявляющееся в этногенетическом феномене казачества, так же представлено совокупностью трех указанных персонажей, объединенных пространственно-географической общностью происхождения и временной синхронностью рубежей жизненной судьбы.

В последнем аспекте, впрочем, наблюдается определенный «сдвиг по фазе» романного повествования. В первой и второй частях «Тихого Дона» Кошевой фигурирует лишь эпизодически; намного более явным здесь предстает соотнесение образов Мелехова и Коршунова. Григорий и Митька вместе идут продавать пойманную рыбу [1, 14]; Коршунов просит Мелехова поддержать его в конном состязании с сотником Листницким [1, 36-37]. В этих и иных ситуациях представлено общение «друзьяков» на межличностном уровне. Но и в опосредованном соотнесении ряда их жизненных сюжетов прослеживаются явные параллели (вплоть до фактических и текстовых совпадений), что наглядно демонстрирует, например, развертывание «любовных» линий.

Здесь, в соответствии с классическими канонами драматургии, можно выделить признаки таких элементов, как экспозиция и завязка (очерченность определенной ситуации, определение действующих лиц и т. д.), которые в обоих случаях связаны с темой *рыбной ловли* (что по-своему символично, поскольку, с одной стороны, опосредованно очерчивает общий контекст темы «Тихого Дона»-реки, а с другой, – ассоциируется с понятием мужчины-охотника, в том числе и в сфере гендерных отношений) [1, 13, 17].

Далее событийные ряды развития действия разводятся с временным сдвигом (для Мелехова –

в первой части романа, а Коршунова – во второй), но при этом во многом изоморфны в своей последовательности.

Традиционно значимой (и по-своему «знакомой») для исследователей и интерпретаторов «Тихого Дона» предстает встреча Григория и Аксиньи на донском берегу [1, 21], где, по позднейшим воспоминаниям героев, и начиналась их любовь. При этом вне поля исследовательской рефлексии, как правило, остается схожая сцена встречи Дмитрия Коршунова и Елизаветы «возле Дона», где они договариваются о поездке на рыбную ловлю [1, 97-98]. В сценах «падения» (обладания героями женщиной) рисуется сходный образ действий: «Рывком канул её Григорий на руки <...>, пытаясь в полах распахнутого полушибка, пошел» [1, 42]; «Не спрашиваясь, Митька поднял ее на руки и понес в кусты прибрежного боярышника» [1, 101].

Во многом сходны и картины «общественного восприятия» произошедшего в хуторе: «Скоро про Гришкину связь узнали все <...> мутной прибойной волной покатилась молва» [1, 43]; «Ветровым шелестом-перешепотом поползла по хутору новость: Митька Коршунов Сергея Платоновича дочку обгулял!» [1, 102-103].

Таким образом, развитие любовных сюжетов в судьбах Григория и Митьки осуществляется на рассмотренных этапах практически по однаковому сценарию, где «друзьяки» демонстрируют некую общую модель «вольного» гендерного поведения (с налетом своеобразного «молодечества»), мало отличаясь друг от друга. Фигурирует здесь и общая ситуация *сватовства* как по-своему традиционного ритуала, производного от конкретики произошедших событий. При этом и в одном, и в другом случае для инициирующей стороны актуализируется мотив «неравного брака», порождающий опасения в благоприятном исходе задуманного [1, 69; 1, 104].

При продолжающейся перекличке сходных ситуаций и мотивов *сватовство*, удачное в первом случае и неудачное во втором, имеет, на первый взгляд, вроде бы одинаковый результат – завершение любовного сюжета. Но если у Митьки это действительно окончательная развязка, то у Григория – «ложный финал» и только первый этап длительной истории, проходящей через все повествование и определенным образом организующей романное пространство «Тихого Дона».

Важнейшим фактором такой дифференциации выступают реалии «смутного времени» в истории России и российского казачества, как социокультурного феномена, по-своему изоморфно идентифицируемого с целым российского социума [3, 437-438; 4, 22-23]; здесь череда социальных потрясений предельно экстремализирует все сферы общественной жизни и процессов

личностного «самостояния» человека: при этом и по возрастным параметрам герои вступают во «взрослую» жизнь. Знаменательна в этом плане сцена принятия молодыми казаками-призывниками воинской присяги, где они слышат своеобразное напутствие: «Теперь вы уже не ребята, а казаки. Присягнули и должны знать за собой, что к чему» [1, 133].

Именно здесь для «ребят», во многом характерологически сходных и порой почти неотличимых друг от друга в период юности, наступает пора ответственных решений и самоопределения на индивидуальном жизненном пути.

Григорий «крепко берег казачью честь», «играл своей и чужой жизнью» [1, 361-362], но в то же время «пытался и не мог найти в душе точку опоры, остановиться в болезненных раздумьях» [1, 262]. Контрастной этому выступает авторская характеристика Митьки, который, также заслужив награды, «жил...бездумной жизнью: жив ныне – хорошо, а назавтра – само дело кажет <...>. Была для Митьки несложна и прямая жизнь, тянулась она пахотной бороздой, и шел он по ней полноправным хозяином. Так же примитивно просты были его мысли и желания...» [1, 370-378].

Таким образом, если для Григория динамика изменений, доводящая до болезненного душевного состояния, ориентирована на усложнение смысложизненного поиска, то для Митьки доминантным выступает вектор упрощения, «спрималения» ценностных ориентиров. Здесь казачья «вольность» тяготеет к вседозволенности, а «долг и честь» перерождаются в «разбойную лихость» [1, 379], что, в свою очередь, ассоциируется с «преступлением» через законы и нормы этики и морали.

Еще один вариант изменений все явственнее, начиная со второй книги романа, демонстрирует образ «третьего товарища» – Михаила Кошевого. Оказываясь нередко «рядом» с Григорием Мелеховым, разделяя тяготы и опасности военного времени, [1, 269] Кошевой в какой-то момент позиционируется в глазах окружающих как сторонник идеи социальной революции: «Об этом Мишка Кошевой, как кочет, с плетня трубит» [1, 363]. Образ Кошевого – один из ярких примеров того, как революционная идея, внешне притягательная по форме и содержанию, оказывает своеобразное завораживающее влияние на неискушенное сознание простого казака (которому, впрочем, в силу «бедняцкого» социального статуса, действительно, нечего терять), порождая стремление «присвоить» ее в качестве ценностного абсолюта. Тем самым динамика изменений в развитии образа Кошевого имеет тенденцию к упрощению и своеобразной унификации смысложизненных ориентиров. В этом Кошевой по формальным параметрам сближа-

ется с Коршуновым – что еще раз демонстрирует некое системное единство указанных образов во главе с Григорием Мелеховым.

Дальнейшее развитие романного повествования о гражданской войне многократно обостряет и вывечивает динамику схождений и расхождений, опосредованных и прямых сравнений и соотношений, параллелей и «двойнических» ассоциаций в представленной образной триаде.

Кошевой – самый, пожалуй, яркий в романе пример утраты личностного начала, подмены его «классовой правдой». Утверждая, что «в этой (гражданской. – А. У.) войне сватов, братьев нету» [2, 129 – 130], Кошевой подводит как бы философско-идеологическую базу, оправдывающую братоубийство; во имя революционной целесообразности оказывается «все дозволено». И здесь он, по сути, солидаризируется с Митькой Коршуновым, которому «все дозволено» просто по определению, ввиду отсутствия вообще каких-либо моральных запретов. (Показательна здесь и дальнейшая реплика Кошевого: «Начертися иди» [2, 130], что заставляет вспомнить о «прямой линии» жизни Коршунова [1, 380]).

Не случайно к финалу романа преступления Коршунова и Кошевого как бы сюжетно «замыкаются» друг на друге: Кошевой убивает деда Гришаку, Коршунов уничтожает семью Кошевого. Безумие братоубийственного взаимоуничтожения разворачивается как цепная реакция как бы «вокруг» того же Григория Мелехова, персонифицируясь в его былых «друзьяках» – двойниках.

«Любовь к родному пепелищу» у Кошевого получает свою интерпретацию: он поджигает родной хутор [2, 342]. После предания огню дома Коршуновых «Мишка зажег подряд семь домов, принадлежащих отступившим за Донец...» [1, 391]. Знаменательно, что между двумя этими «акциями» Кошевой обозначает ситуацию сватовства («А как только... установится мирная советская власть по всему свету, тогда я, тетечка, буду к вам сватов засыпать за вашу Евдокею» [2, 341]. Здесь обозначается еще одна ситуативная параллель по отношению к образам Григория Мелехова и Дмитрия Коршунова; рисуется и соответствующая картина «людей молвы»: «В хуторе стали поговаривать о Кошевом и Дуняшке» [2, 594]. При наличии у такого параллелизма большого временного сдвига по фазе повествования, уже в принципиально иных социально-исторических условиях жизни Донщины, указанная ситуация имеет и дополнительную художественную функцию: между Григорием и Михаилом (так же, как ранее между Григорием и Митькой) устанавливаются родственные связи («Породнились, значит?» [2, 625]). Обозначение таких связей, имеющее своеобразную кольцевую композицию (в начале

и в конце романного повествования) по-своему символично акцентирует тему *родства* героев, где некие общие скрепы незримо присутствуют, воплощая внутренне неоднозначное *целое феномена казачества*.

Показательно, что не только Григорий, но и оба его «товарища детства» остаются к финалу повествования в живых, что по-своему символизирует объективную «живучесть» воплощаемых ими моделей жизненной судьбы.

В рассмотренной вариативности видится своеобразная иллюстрация к авторской мысли концептуально-философского плана: «Выметываясь из русла, разбивается жизнь на множества рукавов. Трудно предопределить, по какому устремит она свой вероломный и лукавый ход» [1, 129]. Тем самым судьбы шолоховских героев по-своему органично вписываются в художествен-

ную структуру романа, воплотившего общие очертания многомерного и многоликого «русла» народной жизни на переломном этапе истории.

ЛИТЕРАТУРА:

1. Шолохов М.А. Тихий Дон. Роман. Т. I. Книга первая. Книга вторая / М.А. Шолохов. – М. : Современник, 1975. – 639 с.
2. Шолохов М.А. Тихий Дон. Роман, Т. II. Книга третья. Книга четвертая / М.А. Шолохов. – М. : Современник, 1975. – 736 с.
3. Гордеев А.А. История казачества / А.А. Гордеев. – М. : Вече, 2007. – 640 с.
4. Удодов А.Б. Роман Тихий Дон: социокультурная идентификация казачества/А.Б. Удодов // Шолохов и Донской край (Шолоховские встречи-3)– Воронеж : Изд-во им. Е.А. Болховитинова, 2009. – С. 6-31.

Удодов А.Б., профессор кафедры русского языка, современной русской и зарубежной литературы. Воронежский государственный педагогический университет.
E-mail: kaf214@yandex.ru

Udodov A.B., professor of the chair of the Russian language, Russian and foreign literature. Voronezh State Pedagogical University.
E-mail: kaf214@yandex.ru